

Конст. Федин

**Государственное
издательство
художественной
литературы**

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

**Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962**

Конст. Федин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВОСЬМОЙ

КОСТЕР

Роман

Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

Примечания
Б. БРАЙНИНОЙ

КОСТЕР

Роман

Ветер задувает свечу
и раздувает костер.

Старое изречение.

КНИГА ПЕРВАЯ

ВТОРЖЕНИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Чем дольше не был в доме, где вырос и оставил свои ранние годы, тем беспокойнее стучит сердце, когда опять приближаешься к родному порогу.

Кажется, давно уже все позабылось, поросло мхом и грибами, да вдруг выглянет на повороте дороги какая-нибудь дряхлолетняя сосна, по которой карабкался мальчишкой, — висел где-то на суку, под небесами, посвистывая Соловьем-разбойником, — и сами собой остановятся ноги.

Глядишь, глядишь на разлапую вершину и дивишься: да неужели ты все еще прежняя, какой была тогда? А я-то думал — уже больше ничего не повстречаешь былого, все переменялось или ушло. Но забвение — только дымка: дунет ветром — ее нет.

Так чувствовал себя Матвей Веригин, когда приехал на побывку к отцу в Смоленщину.

Ему повезло: у самой станции Белорусской дороги на рассвете его прихватил порожний грузовик с попутчицей-старушкой, успевшей занять местечко в кабине шофера, и баюкал в кузове скрипом, лязгом, хрустом своих разношенных мослов и суставов, пока не отмахал километров двадцать пять по жесткому уже

грунту проселка с лужами в низинах после майского первого дождя.

Когда пришло время слезать, Матвей описал ногой, словно циркулем, полкруга через борт машины, упрочил ступню на заднем колесе, выбрал другую ногу и, балансируя ею, достал из кузова пиджак, сложенный подкладкой кверху. Спрыгнув наземь, он отошел от дороги, пощупал траву, глянул на ладонь — не сырая ли? — положил пиджак, вернулся, опять стал на колесо, выжал бицепсом в воздух, как гирию за ушко, веский чемоданчик, отнес его тоже на траву. Мгновение он постоял над вещами, потом нагнулся, переложил пиджак с травы на чемодан и пошел к шоферу, следившему за ним из своей деревянной кабины.

О цене Матвей сговорился на станции, но тут решил вместо условленной трешницы предложить два рубля, и так как свинство это было ему вполне понятно, то он попробовал обосновать предложение тем, что сам — московский шофер и потому может ожидать сочувствия.

— Та-ак. С добрым утром, — сказал шофер, косясь на своего пассажира.

Матвей улыбнулся. Улыбка его была во весь рот, сияющая зубами, похожими на набор образцов у зубного техника, но душевная и веселая.

— Чего оскалится? Ты, может, в Москве попутчиков задаром возишь?

— Я в Москве на должности.

— Мы тоже не единоличники.

— У нас в Москве за работу налево милиция права отбирает, — сказал Матвей будто между прочим и начал полегоньку отряхивать брюки от соломинок.

Шофер толкнул дверцу своей будки, свесил ноги в бурых сапогах наружу, внимательно посмотрел на Матвеевы туфли с резиновыми подошвами в палец толщиной.

— Тут пока милицию сыщешь, шины-то свои до пяток стопчешь, — сказал он не то с угрозой, не то с презрением к модным туфлям.

— Нет в тебе, друг, профессионального товарищества, — упрекнул Матвей.

— В тебе, вижу, есть: обманывать...

— Нехорошо говоришь, — сказал Матвей при-
скорбно.

— Кончай бобы разводить. Плати, как поладили.
Мне ехать.

— Я у тебя со всего кузова грязь собрал. А костюм до сих пор не надеванный.

Матвей шагнул в сторону, чтоб увидеть за шофером лицо попутчицы и вызвать ее сочувствие. Но старушка, довольная нечаянной остановкой, дремала.

— На подушках привык! На «эмке»!.. — насмешливо сказал шофер.

— Нет, брат, я на «кадиллаке». У меня хозяин выше вон этой елки, — опять улыбнулся Матвей. Он потрянул головой в сторону лесной опушки, над зубчиками вершин которой вымахивала одинокая черная макушка ели, — глянешь — сломишь шапку.

Тогда шофер, будто озаренный солнечными искрами, прыснувшими от зубов Матвея, вдруг тоже улыбнулся.

— Ты, выходит, жук порядочный... — проговорил он с мягким одобреньем.

— Ладно, — ответил Матвей, — получай сполна свое счастье.

Он вынул из жилетного кармана тонко спрессованную пачку бумажек, отсчитал три рубля, сравнял их по краям, протянул шоферу.

— Спасибо, что подвез, хороший человек.

Засовывая деньги на самое доньшко нагрудного кармана гимнастёрки, шофер спросил:

— Так ты, говоришь, из Коржииков?

— Коржицкий, — довольно сказал Матвей. — И отец коржицкий и дед. Кузнецы были. Я и сам кузнецом был, до армии.

— Постой, — сказал шофер и спрыгнул на дорогу. — Это не твой отец в сельпо работает?

— Во Всиодах? А то чей же? Илья Антоныч, — уважительно отвеличал отца Матвей. — Я у него старший из троих сынов.

— Так я ж его знаю. Он хворый, что ли?
— Больной.
— Ага, правильно, знаю.
— Вот видишь. А ты с меня деньги взял, как таксист, — еще раз сверкнул зубами Матвей.

Шофер засмеялся, влез к себе в будку, грохнул дверцей, выкрутил влево баранку, включил мотор, крикнул через окошко, быстро оглядывая Матвея с головы до ног:

— С такого не грех взять. В Москве наркома возишь?

— Видал или нет, кого вожу? — опять кивнул Матвей на елку.

— Ну, топай в свои Коржики. Счастливо!

Шум удалявшегося грузовика угасал постепенно, но как будто не угас совсем, а незаметно перешел в иное слитное движение звуков. Это подул утренний ветер. Новый шум был не жесткий: листья берез и осин еще не выросли вполне и чуть шелестели, нежно касаясь друг друга липкой поверхностью.

В рябизне лоснившихся зайчиков прочерчивались полунагие розовые стебли, раскачиваемые ветром, и казалось — слышно было, как стебли ласково хлещут и прищелкивают по молодой листве. Весь этот шелест неся поверх леса, а по самой чаще, низом, глухо пробирался шорох еловых лап, окропленных остриями почек, пестревших своей оранжевой чешуей.

За говором деревьев Матвею неожиданно почувдился кипучий лесной шум, который, бывало (загуляй только над землей большой ветер), манил бродить и бродить без конца, и воспоминание было так ошутимо-резко, что у Матвея скользнул по спине холодок, и он, поеживаясь, вздохнул во всю полноту легких и надел пиджак.

Запахи, которыми он дышал, едучи в грузовике, — пережженного масла, бензина, аммиачной горечи суперфосфата и еще каких-то удобрений, перебивавших за весну в кузове, — все это развеялось без следа. Благоухание почвы с ее травами, смолистой хвой, пряной бересты оживило, как после речного купанья, все его тело.

— Ах мать честная! — выговорил он, сладко расправляя плечи и руки.

От развилки дорог, на которой он стоял, до Коржиков считалось десять верст — это Матвей хорошо знал. В окрестных местах он прежде с отцом, потом в одиночку гонял зайцев, а изредка ходил и по перу. Тут были обширные лесные участки и попеременно с ними — привольные поляны, закустившиеся вырубками со старыми ягодниками — и стол и дом для дичи.

Пройдя недалеко, Матвей увидел широкий склон, наполовину под мелкоколосьем осинника с березняком, наполовину под свежими пнями. Матвей тотчас признал это пространство, но представилось оно ему таким, каким было, когда он только начал, со слезами, увязываясь за отцом на охоту, еще без ружья.

Там, где теперь вперегонки рвались кверху зелеными конусами молодые деревца, тогда кудрявились кусты по колено человеку, а на просторе нынешних пней стеною высился бор, отступивший сейчас вдаль от оголенного склона.

Вот на самом краю былых кустов, на выходе из бора, Илья Антоныч когда-то и показал сыну одним примерным выстрелом сноровку настоящего охотника, и выстрел этот словно заново прогремел над ухом Матвея, едва открылось ему знакомое место...

Тот день был неудачным. Уже темнело, а Матвейка (отец звал его так в детстве) все таскал за спиной сетчатую сумку с дюжиной подобранных от скуки боровиков, не думая больше ни о какой добыче. Выводки давно разбились. Молодая и старая птица одинаково была напугана бродившими весь август охотниками и так крепко держалась в гуще подлеска, что не сразу взлетала даже из-под носа собаки. Илье Антонычу наскучило носить ружье наперевес, ложем под мышкой, и он перекинул его за плечо. Когда Матвейка с отцом вышли на открытое, довольно светлое пространство лесной вырубки, сумрак позади слил весь бор в сплошную массу, и только стволы крайних деревьев чуть теплились косым закатным светом.

Вдруг из-под самых ног Матвейки, за спиной его, со страшным шумом бьющих крыл, вырвалась поднявшаяся птица и, раздувая кусты тяжестью полета, мелькнув черной тенью, исчезла в лесу. Но в миг, когда, испугавшись, Матвейка обернулся на шум; когда он схватил глазом шевеленье кустов и быструю тень, метнувшуюся в сумрак бора; когда он увидел, как у отца будто само собой скользнуло с плеча ружье и вскинулось ложем к щеке, — в этот миг, вместивший в себя множество неожиданных движений, — в этот миг ахнул выстрел.

Тяжкий гул начал охватывать окрестность, уплывая к небу над вырубкой и ступенчато перекатываясь лесом.

Матвейка и отец замерли оба в том неудобном повороте всего тела, в каком их застал выстрел, и с вытянутыми шеями вслушивались — раздается ли сквозь гул биение крыльев улетающей птицы или его нет.

— Готов? — тихо спросил Матвейка.

Отец продолжал слушать.

— Косач? — немного потерпев, еще спросил Матвейка.

— Иди подбирай, — ответил Илья Антоныч, и медленно наклонил к земле ствол ружья, и повернулся лицом к сыну.

Тогда, прежде чем кинуться в лес, Матвейка взглянул в отцовские маленькие светлые глаза и увидел в них два совсем белых огонька, крошечных, как точки, которые будто дрожали. Всей костоватой, некрупной статью своей отец казался в эту секунду чем-то непохожим на самого себя.

Найти добычу было хитро, — Матвейка кружил и кружил между елей, а темнота все больше густела, и он не раз подумал, что отец промазал, и его подмывало высказать свое сомнение, пока Илья Антоныч не подозвал его:

— Глянь сюда!

Почти у самой опушки между двух березок, гладких, как свечи, лежал тетерев, примяв траву простертыми крыльями. Голова его подвернулась под зоб,

и по черному перу, точно от влаги, струился сажистый блеск. Матвейка схватил и поднял птицу за горячую, клейкую от крови шею. Только что ничего не рассмотреть было в темноте, а тут словно рассвело, и Матвейка побожился бы, что различит на тетереве каждое перышко отдельно. Он долго — непослушными пальцами — втискивал его в раздвинутую отцом сетку.

Они двинулись вырубкой к дороге. Добыча, грузно повисшая за спиной, подталкивала Матвейку на ходу в бедро и была ему легка и удивительно приятна.

— Папаня, как же ты целил? Ведь темно! — спросил он, не чувствуя больше усталости, без труда попевая за отцом.

Илья Антоныч был уже опять совсем таким, каким привык его видеть сын, — бойко, нешироко шагал по лесной дороге, муслил на ощупь скрученную из газеты сигарку, слегка прикашливал. Чиркнув спичку, по груди осветив себя золотым, как заря, огнем, он сказал:

— Зоркий не увидит, чуткий услышит.

Остановился, раскурил, дал догореть спичке, приотптал ее искорку в колее, пошел дальше.

— Тут прицел не поможет. Тут надо, чтобы не усомниться, — сказал он и немного погодил.

— Говорят про кузнеца — глухой. Он глух-глух, а на точность без промашки. Что стукнул, то гривна... станешь работать, поймешь.

И так же по-отцовски немного погодя, Матвейка сказал с большой похвалой:

— Здорово ты его саданул!..

Было это почти двадцать лет назад, но Матвей припомнил разговор от слова к слову.

С тех пор, еще не окончив сельскую школу, он начал помогать отцу в кузнице, проработал с ним до призыва в Красную Армию, сам стал отменным кузнецом, недурным охотником, давно научился стрелять со вскидки, хоть и не превзошел в этом умение Илью Антоныча.

В армию он ушел в тот год, когда в деревне проводилась коллективизация, и после этого в Коржихах

не был двенадцать лет. Он служил водителем в моторизованном полку, а отбыв срок, попал в Москву, женился, стал работать на грузовике, ездил несколько лет на такси, принялся было учиться на механика, но подвернулось хорошее место у того хозяина, который теперь, уехав с женою отдыхать на юг, дал Матвею отпуск до середины июня...

И вот он мерил родные холмы и леса, рассчитав, что до Коржиков солдатским шагом оставалось часа полтора. Он жадно узнавал памятные извивы дороги, бывшие клинья хуторских выделов, затерянные в перелесках, с улыбкой слушал гремучие вскрики соек, которых с малолетства звал карёзами, или переливчатое бульканье иволги, и эти голоса словно выше и выше поднимали над ним небесный свод.

Он шел довольный, со своим московским чемоданчиком, в своей московской кепке одного — коричневого — цвета с костюмом. Он весь казался себе выразительным, как этот костюм, чем-то даже с лица похожим на прямоугольные плечи и стрелками торчащие лацканы пиджака, и ему ясно виделось, как он войдет в избу, поставит у косяка чемоданчик, положит на него кепку, вынет из кармашка гребешок, причешется, поклонится, скажет — здравствуйте, папаня! — и обнимется с отцом, а мачеха и братишка Антоша будут только окамененно смотреть, как у него это все щегольски получается.

И чем ближе он подходил к Коржикам, тем ярче предчувствовал свое появление перед семьей, тем больше думал об отце.

2

У кузнеца Антона Веригина, дедушки Матвея, было два сына — близнецы Илья и Степан. Илью отец оставил работать у себя в кузнице: он выдался хоть и слабее, но сноровистее брата, которого отправили искать городских заработков. В деревне толком не знали, сколько городов перевидал Степан, много